

– Где только смертонька моя бродит? – пожаловалась бабка Серафима, и, словно соболезнуя хозьяйке, под грузным телом всхлипнула панцирная кровать.

В ответ на такие слова жены дед Михей лишь пожал плечами. Как и всякий вдосталь побродивший по белу свету, понимал, что в жизни человека бывают моменты, когда смерть воспринимается не старухой с косой, а избавительницей. Но так, как молчание могло быть истолковано двояко, молвил:

– Костлявая вроде почтарочки с пенсией. В положенный день, тюрики-макарики, мимо двора не пройдёт. Поэтому ждать её прежде срока – зряшная трата нервов. Ты лучше соберись с силами и давай выдвигаться ближе к подвалу. Слышь, возле коровников опять стреляют...

– Слышу. Но никуда я не пойду. Хватит прошлого раза. Уронил с крыльца, чуть вторую ногу не поломала.

– Ещё скажи, что сделал это, тюрики-макарики, нарочно.

– Никто тебя не корит. Сама виноватая. Мыслимое ли дело, центнер весу к старости нажила. Тут не только грыжа, пупок у мужика развяжется. Если на горбу такую тяжесть таскать... Так что иди сам в свой подвал... Надо же хоть одному уцелеть. Обоих убьют – куры с голоду околеют, лихие люди машину угонят, барахлишко последнее растащат. Вернётся после войны внук Игорёха, а здесь голимые стены... Ты только табуретку с тряпьем подвинь. Заштопать кое-чего требуется. И костыли у изголовья поставь. А они пусть стреляют. Не впервой...

Дед Михей возражать не стал. Но не потому, что в бабкиных словах имелась логика. Он просто решил вернуться к начатому разговору чуть позже. После того как утвердит на ступеньках подвала заготовленные ещё вчера доски.

Вот уже который день кряду мастерит бабке эвакуатор. Для этого приспособил к садовой тачке старое кресло и хорошенько смазал солидолом ручную лебёдку. Остались мелочи, устранение которых позволит забыть о взятой в гипс бабкиной ноге и собственной грыже.

Добросовестно выполнив наказания, облачился в испятнанный сигаретным пеплом полушубок и вышел на крыльцо. Во дворе пахло подтаявшим навозом и сгоревшим порохом.

Запахи исходили от заброшенных коровников и силосной траншеи, из которой торчала башенка боевой машины пехоты.

– Сколько раз говорилось, тюрики-макарики, – проворчал дед Михей, – не трожь говнецо, оно и смердеть не будет.

Однако стрелок боевой машины адресованную ему претензию пропустил мимо ушей. Точно так же не слышал он и журчание небесных колокольчиков, которыми жаворонки приветствовали весну. И вдобавок был слишком занят. Вколачивал короткие очереди в степь за околицей.

Отсюда, со двора, деду Михею видны коровники, поле со свалявшимися лохмами ржи-самосейки и окаймлённые ошмётками снега козырьки окопов на отстоящем за километр от хутора половецком кургане.

Венчали горушку скелет геодезической вышки и прикрепленный к нему флаг цвета заношенных подштанников. А ещё на кургане валялся опрокинутый броневилок и ещё какая-то железная ветошь. Скорее всего, останки павшего на поле боя бензовоза.

У окопавшихся в степи тоже имелся свой стрелок. Судя по всему, он затаился в норушке под опрокинутым броневилок. Правда, дуэль на какое-то время прекратилась. То ли окопавшийся под панцерником пулемётчик наконец понял, что бронированная дичь не по зубам, то ли его уgomонили осыпавшие курган осколки мелкокалиберных снарядов.

– Ну вот, – горестно молвил дед Михей. – А я, тюрики-макарики, что говорил? Размялись, теперь кое-что начнут большими лопатами кидать. Главное – начать. А потом чем посерьёзнее станут лупить...

Хотел добавить к сказанному, однако в балочке, за хутором, послышалось ворчанье танковых моторов, поэтому сплюнул себе под ноги и полез в подвал крепить доски, по которым должен ходить вверх-вниз уже готовый к работе эвакуатор.

Дед Михей не счёл нужным прежде срока раскрывать свои планы, поэтому бабке Серафиме осталось лишь гадать, что означает пришедший на смену пострелушкам стук молотка.

– До чего шепутной старик, – сказала она. – Горит всё на нём. Особенно – носки. Вон, целый ворох протёртых на пятках скопился...

Однако в словах её имелось больше одобрения, чем укора. Сама даже в теперешнем своём состоянии находила занятие. Картошек начистит, петли на дедовом полушубке суровыми нитками обновит или, как сейчас, устроит ревизию обносившемуся барахлишку.

– Ты, – сострил однажды дед Михей, – и на смертном одре работёнку найдёшь. К примеру, тюрики-макарики, ленты на венках начнёшь поправлять.

Шутка получилась корявой. Но бабка Серафима оставила её без внимания. Понимала – хотел похвалить, а остальное – побоку. И вообще не имелось повода обижаться. Дед и во хмелю улыбчив, если ткнет себя молотком по пальцу, кроме «тюрики-макарики», иного не слышала. Скажет, словно удивится случившейся промашке.

Однако своенравен. Велено отправляться в подвал, а он стучит и стучит молотком. Поглядеть бы, чем занимается, да спаленка с другой стороны дома.

Зато единственное окошко всё равно что рамка, в которую вставлена мартовская акварель. В верхней её половине небо цвета проклюнувшихся сквозь снежную скорлупу пролесок. Где-то там, в подсвеченной истлевающими сугробами синеве, должны раскачиваться крылатые колокольчики.

Чуть ниже, посреди акварели, зыбится пологий холм. На нём смурноликые сорняки стерегут поверженные ниц колосья всё той же ржи-самосейки. Поэтому холм одного колеру с грязной холстиной, поверх которой запеклась сукровица.

Так же ревностно сорняки стерегут подорвавшийся на mine комбайн. Правда, сейчас он ничем не напоминает бабке Серафиме зелёную игрушку. Огонь и туманы нарядили его в ржавые одежды.

Часть акварели, а именно то место, где холм скатывается к пересыхающему летом и сейчас, наверное, взбунтовавшемуся ручью, застыт ивы, в причёсках которых пробиваются предвестники грядущего тепла – жёлтые пряди.

А ещё бабке Серафиме хорошо видна пытающаяся заглянуть в окошко яблонька с забинтованным мешковиной стволом. Упавшая посреди огорода мина нанесла деревцу ещё несколько увечий. Однако менее существенных. Поэтому дед Михей ограничился тем, что повывёргивал застрявшие осколки плоскогубцами, а раны залепил садовым варом.

Только бабка Серафима всё равно печалится за судьбу деревца, чьи плоды к исходу лета наливаются таким солнечным жаром, что о них можно ожечь ладони. А больше всего яблонька радуется весной, когда заливает спаленку розовым сиянием.

– Выживет ли после такого? – однажды засомневалась бабка Серафима.

– Обязательно, – заверил дед Михей. – Не имеет права прежде срока погибнуть, тюрики-макарики, то, что делает землю похожей на рай.

– А когда он, этот срок, наступает?

– Ты о том Господа поспрашивай. Не меня. Моё дело – в навозе копать да молотком стучать.

Вот и сейчас стучит молоток во дворе. Только как-то глухо. Будто торопясь отделить живых от умершего, вколачивают в крышку гроба гвозди из сырого железа.

Неудачное сравнение заставило бабу Серафиму поёжиться. Однако прохуdivшийся носок уронила на одеяло по другой причине.

Вначале про шумело над крышей стаей скворцов, затем в ряду нечѣсанных ив выросло чѣрное, с огненными прожилками дерево. За ним второе, третье...

Что было дальше, бабу Серафима не видела. Она откинулась на подушки и прикрыла глаза рукой, в пальцах которой были зажаты игла с ниткой.

Точно так поступала в детстве, когда отказывалась лицезреть опрокинутую на скатерть молочную крынку, потраву, которую учинил в палисаде оставленный на её попечительство телѣнок, и, как следствие всего, сердитое лицо матери.

Только прошлое подобно укатившимся за окоём грозам. Куда горше настоящее. Это всё равно, что сравнивать шлѣпнувшую по седушке ладонь матери с карающей десницей Господа. Может смиростивиться, а может и воздать за грехи тяжкие.

Правда, таковых за бабу Серафимой не водилось. Да и за дедом Михеем тоже. Чтобы грешить, надо иметь свободное время. А его у них отродясь не было. Все забирала тяжѣлая, как у всякого подверстанного к земле, работа.

Впрочем, на небесах могли иметь своё мнение. Ведь почему-то наслали войну, которая вырвала бок у яблоньки-любимицы и которая сейчас грызѣт душу её хозяйки.

По-другому не скажешь. Страх – совсем не то, каким он представлялся в мирное время. Это подтвердит всякий, будь то кошка или человек, кто познал горечь пыли полувековой давности, которую выплѣвывают уголки застигнутого бомбардировкой дома.

– Смертонька, – молвила, не отнимая руки с зажатой в пальцах иглой с ниткой от глаз. – И где ты, смертонька, ходишь? Почему не хочешь забрать меня из этого ада?

И небеса вняли бабкиным молитвам. Дом вздрогнул, словно остановленный снарядом танкерник, и вопль разлетающегося оконного стекла известил о конце света.

– Дед! – позвала бабу Серафима. – Ты живой?..

Но откликнулась лишь сорванная с навесов и теперь опрокинутая на пол входная дверь. И сразу же стало зябко. Казалось, спальню захлестнуло холодное, вперемешку с гарью половецкое.

Кое-как дотянувшись до поверженных костылей, поднялась на кровати. Расстояние от спальни до сеней в молодости бабу Серафима пролетала игривым ветерком, а теперь оно показалось ведущей в никуда полевой дорогой.

Видно, так уж устроен земной путь всякого живого существа. На рассвете он мчится по заросшей весенними ирисами долине, а вечером едва карабкается на холм. И чем ближе ночь, тем круче подъѣм.

А здесь ещё костыли, будь они неладны, норвят подсунуть какую-нибудь пакость. Это только считается, что они помощники захромавшему. На деле же цепляются за малейшую неровность. Былинку, черепки сброшенного с подоконника цветочного горшка, усыпанный стеклом пѣстрый половичок. И уж совсем неодолимой оказалась распростѣршаяся поперѣк сеней входная дверь.

Впрочем, бабу Серафиме не пришлось расходовать остатки сил на штурм столь серьёзного препятствия. Да и звать запропастившегося деда Михея не имело смысла. Какой резон окликать человека, если на крыльчке вперемешку с кирпичным крошевом и щепками валяются обрывки полушубка?

И тогда бабу Серафима вновь закрыла лицо рукой. Точно так, как делала это в детстве, когда не желала видеть разлитое молоко, учинѣнную телѣнком потраву и сердитое лицо матери.

– Господи, – взмолилась она, – как же так? Я ведь для себя смертоньку просила...

Однако никто не ответил бабу Серафиме. Жаворонки унесли свои колокольчики подальше от линии фронта, а стрелок затаившейся в силосной траншее боевой машины пехоты был слишком занят делом. Он всаживал гремящие очереди в ощетинившийся сорняками курган. И степь отвечала ему той же монетой.